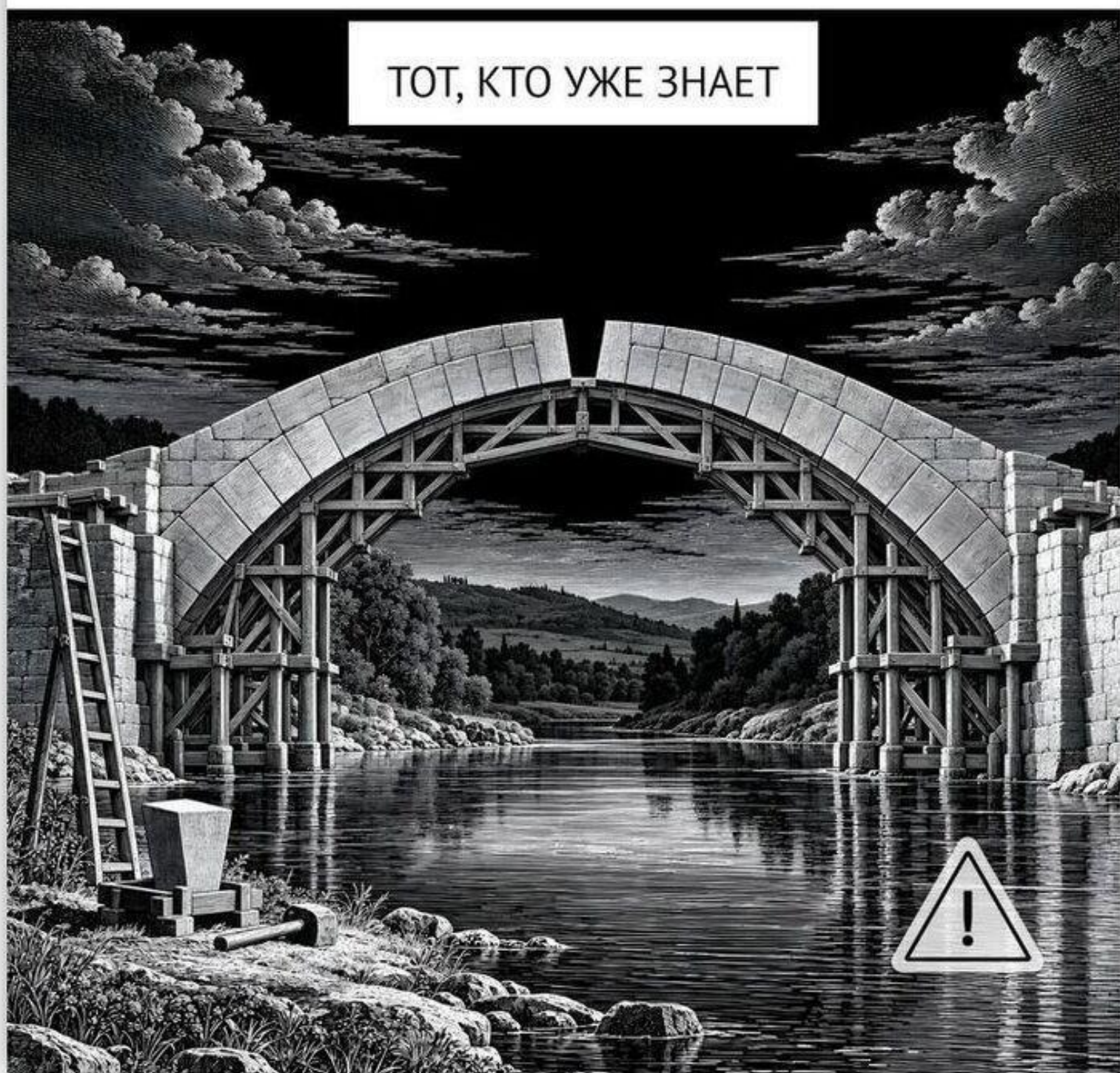


18+
СЕРГЕЙ КИРНИЦКИЙ

Суверен отрицания

ТОТ, КТО УЖЕ ЗНАЕТ



Сергей Кирницкий

**Суверен отрицания.
Тот, кто уже знает**

«Издательские решения»

Кирницкий С.

Суверен отрицания. Тот, кто уже знает / С. Кирницкий —
«Издательские решения»,

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН
И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Почему для того, чтобы общее дело состоялось, нужно
согласие всех, а чтобы не состоялось, хватает одного отказа? Философский
трактат в форме эссе исследует власть, которой владеет каждый участник
совместного действия и которую почти никто не замечает, — власть «нет».
Начав со сцены, где человеку, связанному обетом, делают предложение, книга
шаг за шагом раскрывает логику, политику и этику отказа. Специальных
знаний не требуется — только готовность к медленному чтению.

Содержание

Часть I. Обнаружение	6
Глава 1. Тот, кто уже знает	7
1.1 Встреча, у которой один знает ответ	7
1.2 Молчаливая презумпция совместности	9
1.3 Невидимость несбывшегося	11
1.4 От знания к власти	13
1.5 Обещание книги	15
Глава 2. Обнулённый множитель	18
2.1 Иллюзия двух неизвестных	18
2.2 Способы обнуления	20
2.3 Связать руки — занять трон	22
2.4 Решение, принятое до встречи	24
2.5 Диагностический признак	26
Часть II. Анатомия	29
Глава 3. Алгебра «нет»	30
3.1 Совместность как «И»	30
3.2 Поглощающий ноль, нейтральная единица	32
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Суверен отрицания Тот, кто уже знает

Сергей Кирницкий

Иллюстрация на обложке С использованием ChatGPT

© Сергей Кирницкий, 2026

ISBN 978-5-0071-4400-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть I. Обнаружение

Суверен прячется: феномен односторонней уверенности.

Глава 1. Тот, кто уже знает

1.1 Встреча, у которой один знает ответ

Двое встречаются, чтобы говорить о том, что может случиться только с обоими сразу. Один из них приходит с предложением союза: дальше идти одним путём и жить одной, общей жизнью, — а такой союз не бывает делом одного. К этому разговору он готовился долго: знает, с чего начнёт, какими словами назовёт то, что между ними уже есть, на что опрётся, когда дойдёт до главного. Он перебрал возражения, которые может услышать, и на каждое нашёл ответ. Всё, что определяет его в этой встрече, — то, что он пришёл и с чем пришёл; отсюда и его имя: *пришедший*.

Второй когда-то дал обет, и этот обет исключает то, что ему сейчас предлагают. Каков этот обет — религиозный, светский или личный, — для того, что здесь происходит, безразлично: не нужно знать ни его содержания, ни его истории. Важно лишь одно: принять предложение и сохранить обет вместе нельзя. Второго из двоих мы будем называть по тому же правилу, по тому, что определяет его в этой встрече, — *связанным*. Обет дан не против пришедшего и не ради него: связанный мог дать его задолго до того, как они встретились впервые. Об обете пришедший знает, но видит в нём препятствие, которое разговор может сдвинуть. С этой надеждой он и приходит.

Разговор начинается не с главного. Пришедший говорит о том, что уже было: о пути, который они прошли рядом, о делах, в которых могли положиться друг на друга, о доверии, сложившемся за это время. Потом он говорит о том, что могло бы быть, о совместной жизни, в которой у каждого было бы больше, чем есть порознь. Лишь затем он доходит до обета и говорит, что обет давался в другое время, что с тех пор изменились обстоятельства и сами люди, что их общее будущее тоже заслуживает верности. Он говорит без нажима, и в его словах есть правда, которую можно признать. Разговор может длиться час, а может растянуться на много встреч, каждый раз возвращаясь к тем же доводам и находя для них новые слова.

В этом разговоре нет ни хитрости, ни давления: пришедший говорит то, что думает, связанный отвечает прямо и не уклоняется ни от одного вопроса. Разговор может быть взаимным по чувству, и тогда связанному не приходится делать вид, будто предложение ему чуждо. Кроме чувства, взаимными бывают уважение, память о пройденном вместе и нежелание обидеть друг друга неправдой. Связанный слышит всё: и доводы, и то, что за ними стоит, и то, что осталось несказанным. Он может признать правоту почти каждого довода, согласиться, что с тех пор многое изменилось, что вместе у них было бы больше, чем порознь, и что пришедший не ошибся в том, что между ними есть. И всё же исход известен одному из двоих до первого слова: союз, который предлагает пришедший, не состоится. Встреча может кончиться многим — дружбой, благодарностью, долгим уважением, общей памятью о сказанном, — ведь исход живой встречи редко сводится к простому «состоялось» или «не состоялось». Но того, ради чего она начата, в этом исходе не будет.

Асимметрия видна уже в том, как каждый из двоих слушает и отвечает. Для пришедшего разговор открыт: он ловит каждый ответ, ищет в нём отклик, и тёплое слово может значить для него шаг навстречу. Связанный ведёт тот же разговор всерьёз: он не изображает участия и не переживает встречу, а отвечает с тем же вниманием, с каким его спрашивают. Но вопрос, ради которого они встретились, для одного из них открыт, а для другого закрыт с самого начала. Ответ, которого пришедший ждёт от разговора, у связанного есть раньше, чем прозвучал вопрос. Когда этот ответ наконец звучит, пришедший слышит его впервые, а свя-

занный лишь произносит то, что знал всё это время. И это не та асимметрия, при которой один держит в руках сведения, скрытые от другого: об обете знают оба, но исход известен одному.

Заметим в этой сцене три вещи. Знающий не проницательнее пришедшего и не хитрее его. Он не прочёл в собеседнике ничего скрытого и не просчитал его ходов. О самом пришедшем, о том, каким тот станет через годы и что почувствует завтра, связанный знает не больше, чем пришедший знает о нём. Когда в обычном разговоре кто-то заранее знает его исход, это чаще всего значит, что он видит дальше собеседника; здесь этого преимущества нет, а знание есть.

Ему не нужно слушать, чтобы знать. Он слушает, и слушает внимательно, но мог бы назвать исход в первую же минуту, и ни одно слово, сказанное потом, ничего к его знанию не прибавляет и ничего от него не отнимает. Обычно то, что узнают из разговора, растёт вместе с ним, и к концу о его исходе известно больше, чем в начале. Здесь к концу разговора связанный знает об исходе ровно то же, что знал до его начала.

Его знание не колеблется от доводов. Это не упорство: мнения связанного о многом из того, что прозвучит, могут меняться прямо в ходе разговора, и сильный довод может его убедить. Он может уйти со встречи, думая о прошлом, о пришедшем и о себе самом иначе, чем думал, когда она начиналась. Но довод убеждает его в чём угодно, кроме другого исхода: то, что связанный знает об исходе, остаётся прежним при самом честном слушании.

Проверим, от чего эта асимметрия зависит, меняя в сцене по одному условию. Пусть обет будет тайным, и пришедший ничего о нём не знает: его доводы обращены теперь только к чувству и к будущему, а о препятствии он не говорит, потому что не подозревает о нём. Разговор для него становится ещё открытее: он не знает исхода и не видит ничего, что могло бы его предрешишь. Взаимность чувства, если она есть, он может принять за знак того, что союз состоится, и ничто в разговоре не покажет ему, что это не так. С его стороны встреча выглядит вполне равной: двое, одно чувство, один вопрос, ответ на который ещё предстоит найти вместе. Для связанного же не изменилось ничего: он знает то же, что знал, и так же рано. Асимметрия знания сохраняется целиком, только теперь пришедшему неизвестна даже её причина. Значит, она держится не на осведомлённости пришедшего: от того, что ему известно, зависит лишь, как он читает разговор, но не то, знает ли кто-то из двоих исход заранее.

Снимем обет. Пусть его не было вовсе, а всё остальное осталось прежним: тот же пришедший, те же доводы, та же длина разговора, то же чувство. Второй из двоих — называть его связанным теперь не за что — больше не знает, чем кончится разговор, и узнаёт это вместе с пришедшим, не раньше. Асимметрия исчезает, и оба снова в неизвестности, той самой, в которой проходят почти все встречи, где двое решают что-то, касающееся обоих. Разговор становится настоящим разговором, то есть таким, от которого зависит, чем он кончится. Доводы теперь могут сдвинуть исход, причём в любую сторону, и переубеждённым может оказаться сам пришедший; взаимность чувства, прежде ничего в исходе не менявшая, может стать сильнейшим из доводов. Исход зависит от обоих и не известен ни одному, пока они не договорят. Симметрия вернулась, но не как знание у обоих, а как незнание у обоих: снятие обета не дало пришедшему знания второго, а отняло это знание у самого второго.

Вернём препятствие, но другое. Заменим обет должностным запретом: служба, которую несёт связанный, не допускает союза, который ему предлагают. Или заменим его прежним обещанием, данным кому-то другому и всё ещё остающимся в силе. Доводы пришедшего меняют адресата: теперь он говорит, что правило писалось не для таких случаев, что о прежнем обещании давно никто не вспоминал. Эти доводы остаются теми же по силе и по искренности, и во всём остальном сцена прежняя: та же подготовка, та же взаимность чувства, если она есть, — и тот же исход, известный одному из двоих до первого слова. Запрет, обещание и обет — вещи разной природы, но в этой сцене их различие не видно. Имя «связанный» переходит от

обета к запрету и к обещанию без всякой натяжки. Значит, дело не в обете как таковом, не в его содержании и не в том, кому он дан, а в том, что он делает с положением связанного.

Отсюда вопрос, который сцена ставит и на который сама не отвечает: откуда знание, которое ни о ком? Знание бывает о чём-то или о ком-то — о человеке, о месте, о прежнем ходе дел, — и кто заранее знает, чем кончится встреча, почти всегда знает что-то о том, с кем встречается. Чтобы знать, сойдутся ли двое, нужно, казалось бы, знать обоих. Знание связанного касается общего исхода, того, что может случиться только с обоими, но о пришедшем оно не говорит ничего: тот может оказаться любым, говорить сколько угодно долго и с любыми доводами, а знание останется тем же. Оно не выросло из разговора и не нуждается в собеседнике, хотя касается того, что без собеседника не бывает. Не говорит оно ничего и о самом связанном, если понимать под этим его характер и достоинства: он мог бы быть проницательнее или простодушнее, опытнее или неопытнее в таких разговорах, и знал бы то же самое. Знание о встрече, в котором нет ничего ни об одном из её участников, похоже на противоречие, и всё же в сцене оно есть, и есть с первой минуты. Сцена его не объясняет; она позволяет только догадку, которая пока держится на ней одной: знание связанного идёт не от того, каков он, а от чего-то в его положении.

1.2 Молчаливая презумпция совместности

Когда мы узнаём, что общее дело не состоялось — компаньоны разошлись, так и не открыв задуманного предприятия; двое соавторов оставили книгу ненаписанной; союз, о котором долго говорили, не был заключён, — первым мы почти всегда спрашиваем, о чём они не договорились. Вопрос кажется простым любопытством, но в нём уже содержится целая картина случившегося. Он предполагает, что исход решался в разговоре, что у каждой стороны были свои доводы и что одни доводы оказались сильнее других или не оказались достаточно сильными ни у кого. Так мы читаем всякое дело, которое не сбывается без участия нескольких: предприятию нужны деньги и труд каждого из компаньонов, книге — рука каждого из соавторов, союзу — согласие обоих. Исходы такого рода, *совместные исходы*, требуют вклада от каждого, кого касаются, будь то согласие, подпись или действие, и потому кажутся делом общего убеждения: раз нужны все, то всех и нужно было убедить. Привычку читать совместный исход как плод взаимного убеждения, а его несбытие — как общую неудачу, естественно назвать *презумпцией совместности*. Молчалива она потому, что её не высказывают, а держат, задавая вопросы вроде этого.

Язык закрепляет эту привычку прочнее любого мнения. Об удавшемся общем деле говорят «договорились», о неудавшемся — «не сошлись», «не сговорились», «у нас не получилось», и во всех этих формах исход принадлежит обоим сразу. Сойтись в одиночку нельзя, и потому отрицание этого глагола тоже раздаётся на двоих: не сошлись — значит, ни один не дошёл до другого. Безличное «не получилось» идёт дальше и вовсе убирает действующее лицо: никто ничего не сделал, просто у двоих что-то не вышло. Так же устроена и официальная формула «стороны не пришли к соглашению»: подлежащее у неё — обе стороны сразу, и отчёт о несостоявшейся сделке не называет того, чья подпись не была поставлена. Сказать иначе можно, но для этого приходится строить фразу, которая звучит как обвинение: «он не согласился» указывает на одного и тем самым делает его ответчиком. Такт, вежливость, нежелание судить подталкивают к общей грамматике, и оптика, закреплённая в самом спряжении глагола, перестаёт быть видна как оптика. В ней говорят, не выбирая её, и потому общая грамматика кажется простым описанием того, что было.

В этой оптике встреча пришедшего и связанного ничем не отличается от любых переговоров. Пришедший предлагает, связанный отвечает, и исход, как кажется, сложится из того, насколько убедительным окажется один и насколько податливым другой. Всё, что есть во

встрече, превращается тогда в орудие убеждения: доводы, которые надо подготовить, момент, который надо выбрать, настроение, которое надо уловить, слово, которое надо найти. Ни одна из этих вещей не лишняя, если исход и правда рождается в разговоре, и пришедший, читающий встречу как переговоры, обязан отнестись к каждой всерьёз. Роли при этом распределяются так, что связанный выглядит самой пассивной стороной: его убеждают, он взвешивает, от него ждут, даст ли он себя убедить. Тот, в чьём положении исход решён, предстаёт предметом чужого усилия, а не тем, кто знает ответ заранее. Презумпция не прячет его от глаз, он в центре разговора; она прячет лишь то, что для него в этом разговоре нечего решать.

Даже обет при таком чтении становится доводом другой стороны, пусть самым весомым из всех. На довод отвечают доводом: его можно оспорить, уравновесить, пересилить, и пришедший, который об обете знает, готовится именно к этому. Ответ связанного, когда он звучит, прочитывается тем же способом: не как исход, а как позиция, достигнутая к этой минуте. Позицию можно сдвинуть, если вернуться к ней позже, с иными доводами и в другое время, и потому каждая новая встреча выглядит новым кругом переговоров, а не повторением уже известного. Настойчивость, которая при решённом исходе ничего не меняет, выглядит здесь разумной, ведь переговоры, прерванные отказом, по этой логике ещё не кончены.

Сильнее всего презумпция действует после встречи. Встреча позади, союза не будет, и пришедший ищет, где ошибся: в словах, которых не нашёл, в поспешности, в лишнем слове, в минуте, которую надо было выбрать иначе. Каждый из этих упреков правдоподобен сам по себе, потому что в любом разговоре найдутся неудачное слово и неверно выбранная минута. Но все они держатся на одном допущении: другое слово или другая минута дали бы другой исход. Самоупрек пришедшего здесь не черта характера и не лишняя совесть: он прямо вытекает из такого взгляда. Если исход рождается в переговорах, его несбытие есть изъян переговоров, изъян должен быть чьим-то, и чем добросовестнее отвечала другая сторона, тем вернее он ложится на того, кто убеждал. Пришедший принимает на себя вину за несбытие, которого он не мог ни вызвать, ни предотвратить.

Окружающие скажут об этом мягче: «не сошлись», «не сложилось», «видно, не судьба». В этих утешениях вина с пришедшего как будто снимается, потому что делится поровну или отдаётся обстоятельствам. Но вместе с виной исчезает и связанный: в «у вас не сложилось» для него нет отдельного места, он растворён в общем «вас». Даже он сам, если захочет рассказать о встрече, найдёт в языке ту же общую грамматику: «мы не сошлись», «у нас не вышло». Фразы, которая сказала бы, что всё было ясно одному из двоих прежде разговора, обычная речь не держит наготове; её пришлось бы строить заново, и она прозвучала бы то ли похвальбой, то ли признанием. Так презумпция одним движением прячет того, у кого исход решён, и перекладывает вину на того, кто пытался.

Первая привычка называет несбытие неудачей, и в этом слове скрыта вторая, оценочная презумпция, которая касается уже не того, чей исход, а того, чего он стоит. Для дела, как принято думать, состояться всегда лучше, чем не состояться, а несостоявшееся есть неудача: предприятие, которого не открыли, и книга, которую не написали, числятся потерями, даже если никто не может сказать, что именно потеряно. Первая презумпция раздаёт исход поровну, вторая говорит, как к нему относиться, и вместе они дают больше, чем каждая порознь. Событие общее и при этом неудачное требует объяснения, а объяснение ищут там, где, как считается, всё и решалось, то есть в разговоре. Для пришедшего это значит, что вина, уже положенная на него, оказывается виной за потерю: он упустил то, что, как ему кажется, было достижимо. Отсюда вопрос «что пошло не так?», который задают после всякого несбытия и который заранее предполагает, что что-то шло и могло пойти иначе. У несостоявшегося при таком взгляде нет собственного облика: оно понимается только как нехватка того, что должно было состояться. Верна такая оценка или нет, она входит во взгляд раньше, чем начинается всякое рассмотрение.

Ни одна из двух презумпций не ошибка, и обе верны там, где исход действительно зависит от убеждения. Когда поставщик и покупатель согласуют цену большой партии, итоговая цифра и правда складывается из доводов обеих сторон. Поставщик ссылается на подорожавшее сырьё, покупатель — на предложение конкурента; каждая уступка отвечает на чужой довод, каждое возражение сдвигает цифру, и заранее её не знает никто. Исход здесь к тому же не двоичен: между первым предложением и последним ответом лежит целый ряд возможных цен, и сделка может состояться на любой из них. Если стороны расходятся, «не сошлись в цене» говорит ровно то, что произошло: двигаться могли обе, и обе сдвинулись недостаточно. На месте и вторая презумпция, потому что обе стороны хотели сделки, и для каждой её несбытие означает, что она осталась без того, чего добивалась.

Там, где исход решён, та же оптика вводит в заблуждение, и вводит незаметно. Снаружи такая встреча выглядит так же, как торг о цене: двое, доводы, ответы, и ничто в ней не подаёт знака, что доводам здесь нечего сдвигать. О такой встрече так же естественно спросить, о чём двое не договорились, и так же легко найти ответ: не нашлось нужных слов. Оптика, которая верна достаточно часто, чтобы её не проверяли, переносится и сюда. Суверена прячет не тайна и не хитрость: мы не видим его, потому что заранее смотрим на исход как на общий, а на несбытие — как на поражение.

1.3 Невидимость несбывшегося

В том месте, где река сужается и берега подходят друг к другу ближе всего, моста нет. Когда-то его рассчитали и начертили, выбрали камень для опор, наметили дорогу, которая должна была спуститься к нему с холма, и нашли деньги; но владелец земли на другом берегу отказался её уступить, и дело не пошло дальше чертежа. Построенный мост оставил бы после себя многое: дату открытия, имя подрядчика, опоры в воде, насыпь, по которой к нему подъезжают, настил, который стирают колёса и который время от времени перестилают. Непостроенный оставил в лучшем случае папку с чертежами, которая лежит где-то в архиве и которую никто не открывает. Берег остался таким, каким был: тот же луг, та же тропа к воде, та же лодка у причала. Те, кто переправляется на этой лодке, замечают течение, ветер и время, которое уходит на переправу, но никому из них не приходит в голову, что здесь мог стоять мост.

То же происходит с неподписанным договором и с несостоявшимся союзом. Подписанный договор получает номер в реестре и дату, место в переписке сторон и в их отчётах; из него вырастают поставки, счета, споры, продления, и через много лет по этим следам можно восстановить, с чего всё началось. Неподписанный оставляет черновик, который ни к чему не ведёт и который со временем выбрасывают. Заключённый союз празднуют, о нём рассказывают, у него есть годовщины; от несостоявшегося не остаётся даже дня, в который его можно было бы вспомнить. После встречи пришедшего и связанного у обоих останется память, но это будет память о разговоре, который состоялся, а не о союзе, который не состоялся. У исходов, которые могли произойти и не произошли, потому что кто-то отказал, в языке есть точное имя: *несбывшееся*. Отказ, от которого исход не сбывается, можно назвать вето, как называют его в советах и собраниях, и всё, что такой отказ производит, есть несбывшееся: не событие, а его отсутствие, у которого нет ни места, ни вещества.

Здесь невидимость зависит уже не от взгляда, а от предмета. Можно смотреть на берег без всяких привычек, внимательно и беспристрастно, и всё равно увидеть только луг, тропу и лодку; можно перебрать реестр от первой страницы до последней и найти в нём только подписанное. Отсутствие моста, который отвергли, ничем не отличается от отсутствия моста, который никто никогда не предлагал, и берег не хранит памяти о том, что на нём что-то намечалось, как через поколение не хранят её и люди по обе стороны реки. Даже то, что сбылось и потом исчезло, оставляет след: от снесённого дома остаётся фундамент, от сгоревшего города

— слой золы, и по ним можно восстановить, что там стояло. На месте несбывшегося моста ничего не найдёт и тот, кто станет копать: земля здесь такая же, как в любом другом месте берега. Сама папка в архиве свидетельствует не о несбывшемся, а о сбывшемся, о том, что кто-то сел и начертил, и в описи она значится как проект моста, а не как отказ.

Заметим, что у несбывшегося бывают последствия, и порой немалые: дальний берег остаётся дальним, село за рекой растёт медленнее, чем могло бы, торговля идёт в обход. Но и последствия не несут на себе его отпечатка. Сбывшееся меняет мир, и перемена сама указывает на то, что её вызвало: её видно как разницу между тем, что было, и тем, что стало, и по этой разнице ищут причину. Несбывшееся оставляет мир прежним, и там, где разницы нет, искать нечего. Медленный рост села за рекой выглядит как свойство местности, как дело расстояния и воды, а не как чьё-то решение.

История пишется о сбывшемся, и дело здесь не в пристрастии историков, а в материале, с которым они работают. Хроника записывает, что произошло и когда; архив хранит бумаги, которые что-то закрепили; биография рассказывает, что человек сделал; годовой отчёт учреждения перечисляет открытое, построенное, заключённое. Всё это формы учёта сбывшегося, и графы для несбывшегося в них нет. Когда оно всё же попадает в историю, то попадает туда через то, что сбылось рядом с ним. В начале XVI века Леонардо да Винчи предложил султану Баязиду II перекинуть через Золотой Рог мост в один пролёт; сохранились турецкий перевод письма с этим предложением и набросок в одной из его записных книжек; сам мост построен не был, и почему, источники определённо не говорят. Мы знаем о нём потому, что сохранились бумаги, и помним эти бумаги потому, что их автор — Леонардо: история удерживает здесь то, что было сделано, то есть письмо и рисунок, а не то, что сделано не было. Даже имя, под которым этот мост известен, принадлежит тому, кто его придумал, а не тому, кто мог его построить и не построил.

Асимметрия учёта глубже, чем простое отсутствие записи. У сбывшегося есть дата: мост открыт в такой-то день, договор подписан в такой-то. Когда же мост не был построен? Не в день отказа, потому что в тот день на берегу ничего не изменилось, и не на следующий, а во все дни после, и ни один из них нельзя отметить в календаре. Если через полвека выше по течению всё-таки встанет другой мост, у него будет своя дата, но это будет дата сбывшегося, а тот, что отвергли, так и останется без неё.

У сбывшегося есть и автор, а чаще много авторов, и каждому можно приписать его долю: инженеру — расчёт, подрядчику — работу, городу — деньги. Несбывшемуся автора не приписывают: отказ растворяется среди обстоятельств и в рассказе о непостроенном мосте становится в один ряд с трудным грунтом, нехваткой денег и переменой начальства. Так же устроена биография: она перечисляет, что человек построил, основал, подписал, и тот, чья власть состояла по преимуществу в отказах, выглядит в ней человеком, который сделал немного. Опись учитывает то, что есть, и тех, кто это сделал, а власть, чей результат — отсутствие, в опись не попадает. Поэтому власть над несбывшимся систематически недооценивают: в перечне тех, кто у этой реки что-то решал, владелец земли за рекой не значился бы, хотя нынешний вид обоих берегов определил именно его отказ.

Больше того, самый действенный суверен вовсе не проявляет власти. К связанному редко приходят с предложением, и его отказ правит, ни разу не будучи произнесённым. У непостроенного моста остались хотя бы папка с чертежом и отказ, который кто-то однажды произнёс; здесь не остаётся и этого, потому что не было ни предложения, ни ответа.

Суверену, выходит, есть где спрятаться, и тайников у него три. Он прячется в структуре: то, как исход зависит от вклада каждого, не видно за разговором, в котором звучат доводы, чувства и ответы, но сама эта зависимость не звучит никогда. О мосте спорили, сколько стоит земля, выдержит ли грунт, окупится ли дорога, и ни в одном из этих споров не было видно, на чём в действительности держалось всё дело. Он прячется в прошлом: решающее сделано до

встречи, и обет дан прежде, чем пришедший появился. Он прячется в несбывшемся: результат его власти невидим по определению, потому что это отсутствие события, а отсутствие не оставляет следов. Первые два тайника прячут его от взгляда, который смотрит не туда или не тогда: в разговор, а не в то, как устроена зависимость исхода, в настоящее, а не в прошлое. Третий устроен иначе: он скрывает не самого суверена, а то, что суверен сделал.

Невидимость суверена, следовательно, не случайность и не недосмотр тех, кто на него смотрит. Взгляд можно перевести с разговора на устройство дела, можно обернуть его к прошлому, но третий тайник от этого не откроется: он дан суверену вместе с тем, чем тот правит. Власть над несбывшимся решает только то, чему не быть, и её предмет по самой своей природе не может ни показаться, ни оставить по себе знака. Более зоркий летописец здесь ничего не исправит: сколько бы он ни записал, записанным окажется только то, что произошло. Если такую власть вообще можно распознать, то не по тому, что она оставила после себя. У реки, где мост так и не встал, по-прежнему луг, тропа к воде и лодка у причала, и этот берег выглядит в точности так, как если бы здесь никто ничего не решал.

1.4 От знания к власти

Проще всего сказать, что связанный предвидит исход: он знает свой обет, знает, чем обычно кончаются разговоры, в которых обет спорит с чувством, и делает вывод так же, как делает его всякий, кто заранее говорит, чем что-то кончится. Чтобы проверить это объяснение, посмотрим, как устроено предвидение там, где оно действительно работает. Судья, двадцать лет разбиравший тяжбы между наследниками, по первым репликам сторон нередко угадывает, помирятся ли они или дойдут до решения суда. Его знание собрано из сотен прежних дел: он видел, как говорят те, кто уже готов уступить, и как говорят те, кто пришёл стоять до конца. Поэтому оно говорит на языке вероятности, «скорее всего помирятся», и оказывается верным в большей части случаев, но не во всех. Каждое новое дело, особенно то, в котором он ошибся, уточняет его чутьё. А ошибается он тогда, когда стороны ведут себя не так, как в прежних делах, и упрекнуть его не в чем: прогноз по прошлым случаям не может обещать, что новый случай окажется на них похож.

Знание связанного ни на что такое не опирается, и это видно, если попробовать отнять основание и у судьи, и у связанного. Пусть судья разбирает первое дело в жизни или пусть тяжба окажется такой, каких прежде не бывало: от его знания останется догадка, не лучше догадки любого, кто сидит в зале. У связанного отнимать нечего: прежние случаи ему не нужны, и будь эта встреча первой такой на свете, он знал бы её исход так же твёрдо. Сотня чужих встреч, похожих на эту, не сделает его знание точнее, потому что оно из них не выведено, и ни одна из них, чем бы она ни кончилась, его не опровергнет. Нет в нём и языка вероятности: связанный не оценивает шансы союза, как судья оценивает шансы мира, и словам «скорее всего» в его знании просто негде стоять. Судья знает, как обычно кончаются такие тяжбы, и переносит это на новую; связанный знает, чем кончится эта встреча, и ни с какой другой её не сравнивает.

Второе объяснение тоньше: связанный будто бы знает не прошлые случаи, а этого человека. Проницательность и правда даёт знание исхода без всякого счёта прежних дел. Старый друг, уверенный, что его товарищ никогда не уедет из родного города, знает это не по чужим примерам, а по нему самому: по его привязанностям, по тому, как он решал прежде, по тому, о чём он говорит и о чём молчит. Основание такого знания — другой человек таким, каким его прочли, и надёжно оно ровно настолько, насколько надёжно прочтение. Если товарищ прочитан неверно или переменялся с тех пор, как его читали, уверенность окажется ложной, и никакая зоркость её не спасёт, потому что ошибка лежит не в выводе, а в самом основании. Что связанный не зорче пришедшего, видно по самой встрече; важнее, что в его знании нет

прочтения, которое могло бы подвести. Оно ничего не утверждает о том, каков пришедший и как он поступит, и потому пришедшему нечем заставить это знание врасплах.

Есть, однако, знание исхода, которое тоже обходится без прошлых случаев и без проницательности, и сравнение с ним решает дело. Пусть у встречи будет третий: наблюдатель со стороны, которому известно об обете и известно, с чем пришедший к ней идёт. Прежних случаев он не считает, в пришедшего не вчитывается, может и вовсе его не знать, и всё же исход ему известен так же заранее, как связанному: союза не будет. Об обете знает и пришедший, так что дело не в самих сведениях, а в том, как с ними обходятся. Пришедший видит в обете препятствие, которое разговор ещё может сдвинуть, и потому исхода не знает; третий видит в том же обете то, чего разговор не сдвинет, и потому знает. Выходит, что знать исход, ничего не зная о пришедшем, может не один связанный, и остаётся понять, чем его знание отличается от знания третьего.

Знание третьего держится на сведениях о чужом положении и потому зависит от их верности. Оно верно, пока обет действительно дан, действительно удерживается и действительно исключает этот союз. Пусть обет втайне снят за неделю до встречи и никто, кроме того, кто его дал, об этом ещё не знает; или пусть третий с самого начала понял обет неточно и принимает за запрет то, что было лишь отсрочкой. Его знание станет ложным, а он этого не заметит: изнутри оно ничем не изменится, и он будет так же уверен в исходе, пока встреча не кончится иначе. Проверить себя он может только одним способом, добыв новые сведения о том же чужом положении, и эти сведения будут стареть так же, как прежние. Такое знание точнее всего назвать *производным*: оно следует из знания о другом, как вывод из посылки, и не бывает вернее своей посылки.

Связанному никакие сведения о пришедшем не нужны, а о собственном обете он знает не из сведений. Если обет снят, первым об этом знает тот, кто его снял; если обет удерживается, связанный знает это не по слухам, а потому, что удерживает его сам. Его знание не отстаёт от своего основания и не стареет, как стареют вести, потому что основание здесь не весть о чьём-то положении, а собственное положение знающего. Тут и проходит граница, которой не было видно, пока рядом стояли только связанный и пришедший. Третьему можно ничего не знать о пришедшем, но нужно знать нечто о связанном, то есть о другом, и без этого он остался бы ни с чем; связанному не нужны сведения ни о ком, ему довольно того, где он стоит сам. За уверенностью такого рода, идущей от места, которое знающий сам занимает в общем деле, а не от наблюдения за другими и не от вестей о них, закрепим имя *знание из положения*.

Власть, чей результат не оставляет следов, приходится узнавать не по результату, а по тому, что есть у её держателя прежде всякого результата. Знание связанного касается совместного исхода, того, что сбывается только при вкладе обоих, и при этом не опирается ни на какие сведения о другом участнике. Такое знание назовём *односторонней уверенностью*: у связанного она есть, у пришедшего и у третьего её нет. Книга предлагает видеть в ней не странность одной встречи, а признак, по которому узнаётся власть. Отсюда первая формулировка закона, пока только предполагаемого:

кто может знать исход, ничего не зная о других, тот может решить его, ничего не спрашивая у других.

Обычной речью это значит: если для уверенности в общем исходе не нужно знать, как поступят остальные, то и самому исходу не нужно ждать их ответа. Ход от знания к решению здесь короток. Если исход можно знать, ничего не зная о других, значит, ничто из того, что делают другие, его не сдвинет: будь иначе, для знания пришлось бы знать и их будущие поступки. А если исход не сдвигается ничем со стороны других, напрашивается вывод, что он держится на положении знающего. В краткой форме закон звучит так: кто может знать исход в одиночку, тот может решить его в одиночку. В самом общем виде он даёт гипотезу: *где одинокое знание — там одинокая власть*. Этот ход ничего не говорит ни об устройстве самого положения, ни

о том, откуда берётся знание, которое ни о ком: он идёт от признака к тому, на что признак указывает, и останавливается там, где указанное пришлось бы разбирать.

Поэтому всё сказанное выдвигается как гипотеза, и бремя доказательства надо назвать прямо. Нужно показать, что шаг от «исход не сдвигается ничем со стороны других» к «исход решает знающий» законен, то есть что неподвластное другим действительно находится в руках знающего, а не просто вне всяких рук, как погода в день встречи. Нужно показать и то, что так обстоит дело не в одной этой встрече, а всюду, где совместный исход устроен так же: в собрании, в договоре, в любом деле, которому нужно согласие каждого. Гипотезу опровергнул бы случай, в котором кто-то знает совместный исход, ничего не зная о других, и всё же не может его решить. Пока такой случай не найден, но одной встречи мало, чтобы сказать, что его нет.

Направление этого закона легко перепутать, потому что рядом с ним стоит знаменитая формула «знание — сила», которую принято возводить к Фрэнсису Бэкону. У Бэкона знание даёт власть: кто знает причины, тот может ими распоряжаться, и сила приходит к человеку вместе с познанием и через него. Здесь утверждается обратное: *знание не источник власти, а её улика — оно выдаёт власть, а не даёт её*. Связанный решает исход не потому, что знает его; он знает его потому, что исход держится на его положении. Проверить направление нетрудно. Отнимем у связанного знание: пусть он по какой-то причине сомневается или не отдаёт себе отчёта в том, что исход решён, — при удержанном обете союз всё равно не состоится, так что власть останется на месте и без знания. Отнимем положение, сняв обет, — и знание исчезнет сразу, хотя ум, опыт и память того, кто его дал, останутся прежними.

Зная, в какую сторону идёт связь, мы знаем, куда смотреть, чтобы найти власть, но ещё не знаем, что там будет видно. О положении связанного пока известно немного: при удержанном обете исход закрыт, со снятым обетом снова открыт. Оба долга гипотезы начинаются с одного: нужно показать, что именно в удержанном обете делает исход решённым ещё до встречи. Пока это не показано, закон остаётся гипотезой.

1.5 Обещание книги

Что нужно, чтобы улика стала доказательством? Улика и доказательство могут указывать на одно и то же; различает их не то, куда они указывают, а то, известно ли, почему указание верно. Падение барометра долго было для моряков такой уликой: по нему заранее ждали бури, хотя не могли объяснить, почему одно предвещает другое, и полагались на него потому, что прежде оно не обманывало. Доказанной эта связь стала, когда поняли, что буря приходит с областью низкого давления, а ветер гонит сама разница давлений: из одной причины удалось вывести и падение барометра, и приход бури. С односторонней уверенностью мы пока стоим там, где стояли те моряки: власть, на которую она указывает, известна нам только через неё.

Поэтому гипотеза сама задаёт первые вопросы своего пути, и задаёт их парой. Нужно понять, из чего сделана власть, которую выдаёт знание, и описать её так, чтобы о знании в этом описании не было речи. И нужно понять, откуда берётся знание, которое ни о ком: не найти его рядом с властью, как в сцене, а вывести из самой власти. Одно без другого доказательства не даст: власть, описанная без знания, может оказаться не той, на которую указывала улика, а знание, не выведенное из власти, так и останется совпадением, на которое можно лишь полагаться.

Другие вопросы задаёт сама сцена, если смотреть на неё уже не как на загадку, а как на образец. Она взята в самом чистом виде: общее дело двоих, одно предложение, один обет и ответ, известный заранее. Чистота делает её ясной, но не говорит, как далеко простирается то, что в ней видно. Дело двоих не похоже на дело многих, где отказавшийся стоит среди десятков других, и неизвестно, значит ли там отказ одного то же, что здесь, меньше или совсем иное. Встреча задаёт и вопрос о времени, потому что времён в ней два. Обет принадлежит

прошлому, в котором пришедшего ещё не было, и настоящему, в котором идёт разговор: он был дан однажды и с тех пор удерживается, а знание связанного верно ровно столько, сколько обет держится. Власть, у которой есть прошлое и настоящее, существует во времени, и о ней приходится спрашивать то же, что обо всём, что длится: сколько она живёт, крепнет ли с годами или слабеет, что с ней становится, когда меняются те, кто её держит, и те, кто перед ней стоит. Сцена, вся уместившаяся в один разговор, этого показать не может.

Ещё один вопрос приходит не из гипотезы и не из сцены, а от того, кто их увидел. Почти всякий, кто участвовал в общих делах, будь то семейное решение, товарищество или сделка, побывал на месте каждого из двоих: где-то его отказ решал исход, о котором остальные ещё спорили, а где-то он сам готовил доводы, не зная, что спорить уже не о чем. Увидевший такую власть в другом рано или поздно спрашивает о своей: где она лежит и что с ней делать ему самому. Прежние вопросы можно задавать со стороны, как задают их о любом предмете; этот задают изнутри, потому что спрашивающий сам оказывается тем, о ком спрашивает. Все эти вопросы не стоят рядом, а вырастают один из другого. Спрашивать, докуда власть простирается и сколько она живёт, имеет смысл лишь тогда, когда известно, из чего она сделана, а решить, что с ней делать, может лишь тот, кто знает её состав, её пределы и её срок. Так складывается путь одного понятия: оно выходит из сцены уликой и должно пройти через каждый из вопросов, ни на одном не потеряв себя, хотя на каждом может оказаться уже, чем казалось вначале.

Если свести то, что книга предлагает, к одной мысли, она окажется короче любого из этих вопросов. Одинокое знание и одинокая власть указывают на одно: у общего дела, которому нужно согласие каждого участника, есть место, с которого один решает, что оно не сбудется. Мысль, которой предстоит пройти столько вопросов, полезно иметь в таком виде, чтобы её можно было удержать целиком, не пересказывая всего рассуждения. В самой короткой форме она умещается в два слова.

Достаточно одного.

Чтобы общее дело не сбылось, хватает одного отказа. Формула говорит о том же, о чём гипотеза, но с другой стороны: не о том, кто знает исход в одиночку, а о том, сколько нужно для несбытия. А о том, что нужно, чтобы дело сбылось, она молчит. Зато она идёт против привычки делить несбытие поровну: где обычная речь видит двоих, которые не договорились, формула допускает, что дело решил один. Звучит она как вывод, но за ней пока стоит одна встреча, и всё остальное ещё предстоит обосновать.

О пределах этого предложения надо сказать так же прямо, как о нём самом, потому что короткая формула легко становится шире своего основания. Книга не утверждает, что так устроен всякий совместный исход. Есть общие дела, где отказавшегося можно обойти или заменить другим, и есть дела, где для исхода хватает согласия любого одного из участников, как запертую дверь открывает любой, у кого есть ключ, сколько бы ни отказались остальные. В таких делах власть отказа выглядит иначе. Формулу поэтому надо читать с этой оговоркой: она относится к делам определённого устройства, а докуда простирается власть отказа, остаётся вопросом, а не допущением.

Книга не утверждает и того, что отказывать хорошо. Она описывает власть «нет», а не воспеваёт её. Привычку считать несостоявшееся неудачей она называет оптикой, но не ставит на её место обратную, по которой несбывшееся лучше сбывшегося. Одним и тем же отказом можно уберечь невиновного, не подписав ложного свидетельства, без которого его не осудить, и можно оставить реку без моста, которого ждали все, кроме владельца земли на том берегу. По одной только власти эти случаи не различить: она показывает, кто решает исход, но не говорит, прав ли он. Судить отказ — отдельная работа, и рассуждение, которое ещё не знает, из чего сделана эта власть, за неё не берётся.

Не утверждает книга и того, что чужое «нет» можно и нужно преодолевать. Здесь не учат ни обходить отказ, ни дожимать его, ни выгодно продавать собственный. Такое руководство

было бы всё той же оптикой переговоров, только вооружённой приёмами: в ней чужой отказ никогда не окончателен и лишь ждёт более ловкого довода. Пришедший нашёл бы в нём новые доводы для встречи, исход которой от доводов не зависит, и ничего больше. Вопросы, которые встают перед тем, кому отказали, от этого не исчезают, но они другого рода. Как чужое «нет» обходят — вопрос о пределах его власти, а не о ловкости обходящего. Что делать тому, кто стоит перед отказом, — вопрос о его собственном положении, о том, что остаётся в его руках, когда исход решён не им. Когда отказ вправе сломать — вопрос о праве, а не о силе ломающего.

Загадка одной встречи стала уликой, и разница между ними не в содержании, а в том, чего каждая требует. Загадка останавливает взгляд и не требует ничего, кроме удивления; улика указывает направление и требует проверки, потому что может и обмануть, как обманывает неисправный барометр. У нас в руках не ответ, а гипотеза, и пока она только улика: она обращает взгляд от знания, которое ни о ком, к власти, которую оно выдаёт, но самой власти ещё не показывает. Чем она не станет по дороге, тоже известно: ни похвалой отказу, ни приёмом против чужого «нет», ни законом для всякого общего дела. Выйти же из проверки она может подтверждённой, суженной или опровергнутой, и ни один из этих исходов не решён прежде, чем вопросы заданы. В отличие от той встречи, на этом пути исход не известен никому до последнего шага.

Глава 2. Обнулённый множитель

2.1 Иллюзия двух неизвестных

Исход встречи, на которую пришедший приносит своё предложение, мы привычно записываем так же, как записали бы исход любого разговора двоих о чём-то общем.

Исход = f (выбор пришедшего, выбор связанного)

Строка говорит то, что сказал бы о встрече всякий, кто видит только разговор: исход есть функция двух выборов, и состоится союз или нет, зависит от того, что выберет пришедший, и от того, что выберет связанный. Исход взят здесь в самом грубом виде, без полумер и оттенков, только в двух значениях, и в таком виде строка читается как уравнение с двумя неизвестными. Пока не известен ни один выбор, не известен и исход, и каждый из двоих держит в руках половину ответа. В этом и состоит обычный смысл слова «зависит»: исход зависит от выбора, если при другом выборе он мог бы оказаться другим. По этому признаку зависимость и проверяют: меняют один выбор, оставляя прочее как есть, и смотрят, отзовётся ли исход.

Форма записи взята из опыта, и опыт её по большей части подтверждает. Двое компаньонов решают, открывать ли общую мастерскую; соседи решают, ставить ли между участками общий забор; два города решают, прокладывать ли между собой дорогу. В каждом таком деле любая из двух сторон может сказать «да» и может сказать «нет», и до конца разговора ни один ответ не известен заранее, иногда даже тому, кто отвечает. Пусть компаньоны уже почти согласны: стоит одному из них передумать, и мастерской не будет, стоит ему снова согласиться, и она откроется. Доводы что-то сдвигают, сомнение одного передаётся другому, уступка отзывается уступкой, и то, чем кончится дело, действительно складывается из двух решений. Здесь понятно и то, зачем вообще разговаривать: убеждение есть способ сдвинуть чужую переменную, и оно имеет смысл потому, что она подвижна. Для таких встреч строка с двумя неизвестными точна, и именно поэтому её трудно не перенести на всякую встречу, где двое говорят о чём-то общем. В этой строке презумпция совместности получает запись, и запись настолько проста, что кажется описанием того, что есть.

В сцене с обетом строка выглядит так же, и разговор идёт своим обычным порядком: пришедший говорит, связанный слушает и отвечает, и чувство между ними может быть взаимным. Но если прочесть сцену через эту запись, в ней становится видно то, что разговор скрывает. Одна из двух переменных не свободна: выбор связанного закреплён обетом, и его значение не колеблется, что бы ни было сказано. Закреплено при этом не чувство связанного, которое может отвечать пришедшему в полную меру, а его выбор относительно этого исхода. Неважно и то, религиозный обет, светский или личный: для записи существенно лишь, что значение закреплено и разговор его не касается.

Проверим зависимость так же, как проверили её у компаньонов, и изменим выбор пришедшего. Пусть он скажет своё «да» со всей силой, пусть колеблется, пусть передумает и уйдёт, не договорив: союз не состоится ни в одном из этих случаев. Убеждение, которое в разговоре компаньонов сдвигает чужую переменную, здесь обращено к переменной, которой некуда сдвинуться, и доводы пришедшего могут быть выслушаны, поняты, даже разделены, ничего не изменив в исходе. Функция вырождается: выбор пришедшего по-прежнему стоит в записи, но исход на него больше не отзывается и при любом его значении остаётся одним и тем же.

Для такого устройства есть образ, знакомый со школы: множитель, равный нулю. Какой бы сомножитель ни стоял с ним рядом, большой или малый, подобранный с любым старанием, произведение от этого не изменится. Обет стоит во встрече на месте такого множителя, и всё, что приносит пришедший, умножается на него. Заметим, что снаружи этого не видно: строка

для встречи компаньонов и строка для встречи пришедшего со связанным написаны одинаково, и разница между ними не в записи, а в том, свободна ли в ней переменная. Сама сцена от этого не стала другой, в ней те же двое и тот же разговор; изменилось то, что в ней теперь видно. Там, где была только асимметрия, появилось устройство: запись с двумя переменными, одна из которых закреплена. Устройство не объясняет, откуда у связанного знание исхода, но показывает, на чём держится сам исход.

Что при этом происходит с волей пришедшего? Она не отменена и не подавлена. Никто не выбирает за него и никто его не принуждает: он сам решает, что сказать, о чём просить, настаивать ли, и выбор его свободен в полном смысле слова. Для его жизни этот выбор реален: решение прийти, каждое его слово, риск, на который он идёт, принадлежат ему и переживут встречу; несбывшийся союз не оставит следов, а сказанное пришедшим останется сказанным. Но с исходом встречи этот выбор не сцеплен. У мотора бывает такое состояние: он работает, вал вращается, горючее расходуется, но сцепление выжато, и машина стоит на месте. Механики называют такой ход холостым. Это и есть *холостой ход воли*: свободный выбор, от которого этот исход не зависит.

Против такого имени можно возразить, что выбор, от которого ничего не зависит, трудно назвать выбором, и говорить о его свободе значит играть словами. Возражение смешивает две вещи, которые в обычной встрече ходят вместе. Свобода выбора — вопрос о том, кто выбирает: выбор свободен, если его делает сам выбирающий и никто не решает за него. Действенность выбора — вопрос о том, что он меняет: выбор действен для исхода, если исход отзывается на его перемену. В разговоре компаньонов об общей мастерской оба свойства совпадают, и потому их легко принять за одно. Сцена с обетом их разводит: выбор пришедшего сохраняет всю свою свободу и теряет всю действенность для этого исхода. Холостым ход бывает только относительно определённого исхода, а не вообще. От выбора пришедшего зависит, будет ли разговор, каким он будет и с чем оба из него выйдут; не зависит от него только то, состоится ли союз.

Слово «холостой» легко услышать как приговор, будто пришедшего вывели из игры, а его чувство и доводы объявили лишними. Но холостой ход — не унижение, а факт структуры: понятие говорит не о пришедшем, а о связи между его выбором и исходом. Пришедший не стал меньше: его воля так же сильна, его предложение так же серьёзно, а доводы ровно так же хороши или плохи, как в любом другом разговоре. Мотор на холостом ходу не хуже того, что тянет машину в гору: это тот же мотор, только не соединённый с колёсами. Та же воля там, где выбор второго открыт, решает исход наравне с ним. Изменилась лишь зависимость исхода от пришедшего, и причина этого не в том, каков он, а в том, как устроена встреча, в которую он вошёл.

Теперь видно, что не так с привычной записью. Как запись она верна: исход встречи и вправду есть функция двух выборов, и ни один из них из неё не вычеркнут. Неверно её чтение. Незвестная — величина, значение которой не установлено заранее и отыскивается самим решением; постоянная — величина, значение которой установлено независимо от хода решения. Различие между ними не в том, знает ли кто-нибудь значение, а в том, может ли оно в этом уравнении оказаться другим. Число, задуманное другим человеком, для отгадывающего неизвестно, но неизвестной от этого не становится: оно уже задумано, и догадки его не меняют.

Строка обещает две неизвестные равного веса, и разговор ведётся так, будто искать нужно обе, а в этой встрече одна из них вовсе не неизвестная, а постоянная величина: её значение закреплено, и никакие слова его не сдвинут, знает о нём пришедший или нет. Другая остаётся неизвестной до последнего слова, но исход от неё не зависит. Незвестная здесь ничего не решает, а решающая величина ничего не ждёт от разговора. Всё, что определяет исход, уже стоит в записи закреплённой величиной, и уравнение, казавшееся уравнением двух волей, оказывается уравнением одной константы.

2.2 Способы обнуления

Отнимем у связанного обет и дадим ему взамен должность, которая запрещает такой союз всякому, кто её занимает. Пришедший приносит то же предложение с теми же доводами, разговор идёт так же, и исход по-прежнему известен одному из двоих до первого слова. Отнимем и должность, а взамен дадим прежнее обещание: пусть связанный уже обещал себя другому и держит слово. В разговоре и в исходе снова ничего не меняется. Меняется только то, чем закреплена переменная: сначала обетом, потом порядком, которому подчинено место, потом словом, отданным другому человеку.

Раз замена ничего не меняет, закрепление оказывается не свойством обета, а жестом, который обет совершает наравне с должностью и обещанием. Во всех трёх случаях одна из переменных выведена из встречи прежде, чем встреча началась: её значение установлено не разговором, а тем, что было до него. В записи исхода такая переменная остаётся: её можно назвать, к ней можно обращать доводы, о ней можно спорить, но ход разговора её не сдвигает. Этот жест и есть *обнуление*: изъятие переменной из игры до игры, при котором её значение закреплено заранее. Имя ничего не говорит о том, из какой материи сделан нуль, и в этом его польза: оно позволяет узнать одно устройство там, где на поверхности лежат несхожие вещи — обет, должность, закон, прежний уговор, болезнь, смерть.

В обете нуль выставляет себе сам держатель, и потому эта материя самая прозрачная. Никто не произносил за него этих слов, и держатся они на нём одном. Связанный несёт именно такой нуль, но обет бывает и совсем частным, без обряда и без торжественных слов. Тот, кто дал себе слово больше не садиться за карточный стол, закрепил своё значение разом для всех партий, в которые его позовут, ещё не зная, кто и когда позовёт: за столом сидят трое, недостаёт четвёртого, партнёры могут уговаривать, и всё же партии с ним не будет.

В роли и должности нуль приходит вместе с местом и держится на месте, а не на человеке. Судья не судит родственника: сколько бы ни просила об этом сторона и насколько бы ни был сам он уверен в своей беспристрастности, это дело у этого судьи не окажется. Правило старое: запрет быть судьёй в собственном деле знало уже римское право, и отвод по родству распространяет его на близких. Врач не выпишет сильного лекарства без показаний: пациент может настаивать, может быть убедителен и даже прав в том, что лекарство ему поможет, но рецепта из рук этого врача он не получит. «Нет» в обоих случаях произносит человек, однако выставлено оно не им и не в эту минуту, а местом, которое он занимает. Знаки у этих нулей разные: отвод охраняет другую сторону дела, а запрет врача может уберечь пациента от вреда и может отнять у него помощь, в которой тот нуждается.

В законе и правиле нуль выставлен общим порядком, который не принадлежит ни одному из участников. Закон, запрещающий продавать спиртное несовершеннолетним, снимает вопрос прежде, чем тот задан: продавец и покупатель могут сойтись в цене и в выборе, но покупка не состоится, потому что одно из двух «да» закон сделал невозможным заранее. От должности такой нуль отличается тем, что не требует ни звания, ни присяги: он ложится на всякого, кто окажется за прилавком, будь то хозяин лавки или случайный сменщик. Охраняет он здесь того самого покупателя, чьё желание отклоняет. Правило премии, по которому заявку, пришедшую после срока, не рассматривают, устроено так же, но знак у него другой. Член жюри, который случайно прочёл опоздавшую заявку и счёл её лучшей из всех, не может сказать ей «да»: для премии её нет.

В прежнем обязательстве нуль выставлен словом, но словом, обращённым не к себе, а к другому: обещано другому, место занято. Танец, уже записанный в бальной книжке за одним партнёром, не достанется второму, даже если оба, и обещавший, и просящий, этого хотят. Автор, обещавший следующую книгу одному издателю, не заключит договора о ней с другим,

хотя бы с этим другим они сошлись во всём. Особенность этой материи в том, что нуль выставил сам держатель, а распоряжается им теперь тот, кому обещано. Издатель может отпустить автора, и тогда книга снова свободна; сам автор, оставаясь верным слову, её не освободит.

В невозможности нуль не выставлен никем. Отсутствие, неспособность, смерть закрепляют значение так же надёжно, как обет. Договор, под которым нужны подписи обоих совладельцев, не будет подписан, пока один из них в плавании и вне связи. Дуэт не будет сыгран, пока у пианиста сломана рука, сколько бы ни репетировал скрипач. Примирение двоих, один из которых умер, не состоится, что бы ни понял и ни простил оставшийся. Никто из них не отказывал, и всё же для исхода плавание, перелом и смерть работают в точности как «нет», сказанное до начала разговора.

Порознь эти материи в жизни встречаются редко: отвод судьи записан в законе, запрет врача — в правилах профессии, обещание издателю оформлено договором, за которым тоже стоит закон. Поэтому различать их приходится не по тому, где нуль записан, а по тому, на чём он держится прежде всего, и первый вопрос, который их разводит, — кто выставил нуль. В обете и в прежнем обязательстве его выставил сам держатель, своим словом, хотя во втором случае слово отдано другому. В должности, в законе и в правиле его выставил другой: профессия, законодатель, учредитель премии, то есть порядок, который существовал до держателя и продолжится после него. В невозможности его не выставлял никто: ни плавание, ни перелом, ни смерть не были решением о договоре, дуэте или примирении.

Второй вопрос — добровольно ли держатель несёт свой нуль. Обет и обещание добровольны вполне: их можно было не давать. Должность добровольна наполовину: её принимают по своей воле, но вместе с ней принимают запреты, которых сами не выбирали, и в отдельном деле судья уже не решает, отводить ли себя. Нуль закона держатель несёт независимо от согласия: продавцу не нужно одобрять запрет, чтобы тот действовал. Невозможность согласия не спрашивает вовсе.

Третий вопрос — обратим ли нуль и кто может его снять. Самоналоженный обет может снять, если его вообще можно снять, только тот, кто его наложил. Прежнее обязательство снимает не давший слово, а тот, кому оно дано. Нуль должности держатель не может обратить в «да», оставаясь на месте, а уйдя с места, теряет вместе с запретом и само право решать: у судьи в отставке нет ни отвода, ни дела. Закон отменяет законодатель, и не ради одного случая. Отсутствие и неспособность обратимы ходом обстоятельств, возвращением или выздоровлением, а смерть необратима.

Три вопроса не повторяют друг друга, и никакие две материи не отвечают на них одинаково. Нуль должности выставлен другим, но принят по своей воле; нуль прежнего обязательства выставлен самим держателем, а снять его может только другой; обет и выставляет, и снимает один и тот же человек. И всё же у пяти материй есть общее, и оно важнее различий: значение закреплено до взаимодействия и не зависит от его хода. Обет дан, должность занята, закон принят, танец записан, рука сломана прежде, чем начался разговор, и ничто сказанное в разговоре этих значений не касается. Выбор другой стороны остаётся для этого исхода холостым. Знак нуля при этом может быть любым, а устройство от знака не зависит. Даже обратимый нуль снимается не ходом разговора, а отдельным актом, у которого свой хозяин: издатель отпускает автора не оттого, что второй издатель был красноречив.

Это же условие отделяет нуль от препятствий, которые на него похожи. Занятость, которую можно перенести, сомнение, которое можно рассеять, неудобство, которое можно возместить, тоже мешают делу, и о них тоже бывает известно заранее. Но их значение ещё решается во встрече: занятой может найти время, сомневающийся может убедиться, и то, что скажет другая сторона, ещё способно сделать исход другим. Невозможность стоит в одном ряду с обетом не потому, что она препятствие, а потому, что её значение, как и значение обета, разговор уже не сдвинет.

Не зависит нуль и от того, что чувствует держатель. Судья может сочувствовать родственнику, врач — хотеть помочь, обещавший танец — жалеть о своём обещании, и ни одно из этих чувств нуля не сдвигает. Невозможность доводит эту независимость до края: там нуль выставлен никем, без всякого согласия, а порой и без возврата, и за ним нет ничьей воли. Можно ли говорить о суверене исхода там, где некому хотеть, — вопрос открытый. Но для самого обнуления этот край уже кое-что показывает: раз нуль может выставить перелом, у которого нет ни желаний, ни решимости, нулём переменную делает не чья-то твёрдость, а то, что её значение закреплено. Обнуление — не состояние того, кто говорит «нет», а событие в устройстве дела, и совершиться оно может из любой материи: из слова, из места, из закона, из уговора, из обстоятельства.

2.3 Связать руки — занять трон

Из всех нулей самым непонятным кажется тот, который держатель выставил себе сам и по своей воле. Нуль закона или должности держатель получает от порядка, нуль невозможно — от обстоятельств; здесь же никто ничего не навязывал: у держателя был ход, и он сам его себе закрыл. Привычный счёт свободы видит в этом ущерб без всякой нужды: у кого больше возможностей, тот и сильнее, а кто отказался от части своих, тот себя ослабил. Недаром связанные руки служат в обычной речи образом бессилия. В таком счёте связавший себя выглядит выбывшим: двигаться ему некуда, торговаться нечем, и игру, из которой он будто бы вышел, ведут теперь другие. Ему остаётся ждать, чем они её кончат.

Томас Шеллинг, экономист, писавший о торге и сдерживании, показал в книге «Стратегия конфликта» 1960 года, что этот счёт годится только для того, кто решает в одиночку. Там, где исход зависит от двоих и каждый, выбирая, прикидывает, что сделает другой, возможности одного входят в расчёт другого, и убрать собственную возможность значит изменить чужой расчёт. Отсюда его тезис, звучащий как парадокс: в стратегическом взаимодействии тот, кто лишил себя выбора, не выбыл из игры, а предопределил её исход. Шеллинг говорит об этом и резче: в торге слабость нередко оказывается силой, способность стеснить противника может зависеть от способности связать себя, а сжечь за собой мосты бывает достаточно, чтобы его одолеть. Тезис держится не на хитрости или решимости того, кто себя связал, а на устройстве взаимодействия, в котором ход одного становится обстоятельством для другого.

Первый пример — сожжённые мосты. Армия, переправившись через реку, сжигает мосты за собой. Взятое само по себе, это чистая потеря: у армии был путь назад, теперь его нет, и если бой обернётся против неё, отходить будет некуда. Но бой ведут двое, и для противника эта потеря меняет то, на что он рассчитывал. Он мог надеяться, что сильный натиск заставит армию отойти; теперь отхода нет среди возможных исходов, и натиск, рассчитанный на это, становится для этого исхода холостым ходом. Противнику остаётся выбирать между боем с тем, кому некуда отступать, и отказом от боя. Армия, сжёгшая мосты, не вышла из игры: она закрепила своё значение и тем задала противнику условия, в которых он теперь выбирает.

Рядом с мостами стоит пример, ставший классическим в стратегической литературе тех лет, — «игра в труса». Двое ведут машины навстречу друг другу по одной полосе; кто свернёт, тот уступил, а если не свернёт никто, столкновение обойдётся обоим дороже любой уступки. Пока руль есть у обоих, исход действительно зависит от двоих, и каждый надеется, что свернёт другой. Пусть теперь один из водителей на глазах у второго снимает руль и выбрасывает его в окно. Свернуть он больше не может, даже если захочет, и весь выбор переходит ко второму: свернуть самому или столкнуться. Если столкновение для него хуже уступки, он свернёт. Уступает здесь как раз тот, кто сохранил полную свободу выбора, а отказавшийся от своей получает то, чего добивался. Настоящий ли руль вылетел в окно — отдельный вопрос; пусть здесь он настоящий.

В обоих случаях сделан один и тот же ход, и ему нужно имя. Назовём *самообязательством* лишение себя выбора как ход против другого: закрепив своё значение, держатель предопределяет совместный исход. По устройству это то же обнуление, выставленное самим держателем и по своей воле, но повернутое к другому: нуль выставлен ради того, как тот будет выбирать. Действует такой ход по той же причине, по какой действует всякий нуль: к началу игры он уже выставлен, и ничто из того, что в ней произойдёт, его не сдвинет, так что мосты догорают раньше, чем начнётся бой, а руль лежит на обочине прежде, чем машины сойдутся. Привычный счёт свободы замечает в таком ходе только утраченную возможность и не замечает приобретённого места. Это место и есть трон: занять его значит стать тем, чьё значение решает исход. Пока руль был у обоих водителей, исход решали двое, и трона не было ни у кого. Когда руль выброшен, исход решает закреплённое значение одного, а второй при всей своей свободе выбирает лишь среди того, что ему оставлено.

Предопределить исход, однако, можно в двух смыслах, и в «игре в труса» они совпадают так плотно, что сливаются в один. Первый смысл — власть: исход, зависящий от закреплённого значения, решён, что бы ни выбрал второй. Такая власть есть при всяком нуле, из какой бы материи он ни был сделан. Второй смысл — переговорная сила: нуль одного заставляет второго уступить. Она есть не всегда, а только там, где у второго есть что уступить и где несбытие того, что без этой уступки не состоится, обходится ему дороже, чем она сама. Водитель без руля не просто решил, что сам не свернёт, — он вынуждает свернуть другого, потому что, не свернув, тот лишится большего, чем отдаёт, сворачивая. У водителя есть и власть, и переговорная сила.

Связанный — противоположный случай. Его нуль решает исход встречи так же твёрдо, как выброшенный руль решает, что первый водитель не свернёт: союз не состоится, что бы ни выбрал пришедший. Но ни к какой уступке этот нуль пришедшего не вынуждает, потому что пришедшему нечего уступить, чтобы исход стал другим. Он может смягчить предложение, отказаться от части надежд, согласиться на любые условия, и ничто из этого не откроет союза, закрытого обетом. Сам связанный тоже ничего не требует: его нуль не ставка в торге, и за ним не стоит уступка, которую можно было бы купить. У связанного есть власть и нет переговорной силы, и различие лежит не в нём, а в положении второго.

Поставленные рядом, связанный и водитель вызывают возражение, которое трудно отметить. Власть привычно меряют тем, получает ли держатель желаемое: сильным называют того, у кого дела идут по его воле, и никто не назовёт властью способность добиваться того, чего держатель сам не хочет. Водитель выбросил руль ради того, чтобы свернул другой, и другой свернул; здесь власть видна по результату. Связанному же его нуль может не принести ничего, кроме утраты. Какая же это власть, если держателю от неё плохо? Если власть есть способность получить желаемое, то водитель ею обладает, а связанный нет, и ставить их рядом значит путать власть с одной лишь неподвижностью.

Возражение сливает два вопроса, и ответ на него начинается с того, чтобы их развести. Первый вопрос — от чьего значения зависит исход, второй — совпадает ли исход с тем, чего держатель хочет. Первый решается той же проверкой, какой проверяют всякую зависимость: исход решает тот, чьё другое значение сделало бы исход другим, тогда как при любых значениях остальных он остался бы прежним. Второй решается сравнением исхода с желанием держателя, и проверка зависимости для него ничего не даёт. На первый вопрос водитель и связанный отвечают одинаково: значение закреплёно заранее, и никакой выбор второго не сделает другим исход, который от этого значения зависит, — первый водитель не свернёт, союз не состоится. На второй они отвечают противоположно: водитель хотел, чтобы свернул другой, и получил это. Связанный правит исходом и может от этого страдать: чувство пришедшего бывает взаимным, и тогда союз, которого не будет, — несбывшееся и для связанного. Власть у обоих одна и та же, выгода противоположна, и значит, власть над исходом не равна выгоде от него.

Власть и выгода расходятся не только у связанного. Выгода бывает без всякой власти: второй водитель мог свернуть сам, из осторожности, пока руль первого ещё на месте, и первый получил бы желаемое, ничего не решив. Власть бывает без выгоды и там, где нет ни обета, ни чувства. Армия, сжёгшая мосты перед противником, который сильнее и не боится боя, по-прежнему решает, что отступления не будет, но переговорной силы у неё нет, и решает она это себе в ущерб. Даже самообязательство, сделанное ради выигрыша, остаётся ходом, который может не окупиться, и тогда держатель сохраняет власть над исходом, потеряв надежду на выгоду от него. Если мерить власть выгодой, властью пришлось бы назвать удачу водителя, которому не понадобилось выбрасывать руль, и отказать во власти армии, от чьего значения исход зависел на деле.

Отсюда видно, о чём спрашивает слово «суверен», когда его прикладывают к совместному исходу. Суверенитет — вопрос о том, кто решает, а не о том, кому от решения хорошо. Правитель, подписавший указ себе в убыток, остаётся тем, кто его подписал, и решившего не станут искать среди тех, кто от указа выиграл. Смешение двух вопросов прячет суверена ещё глубже, чем он скрыт и без того: того, кто правит исходом, ничего от этого не получая, по выгоде в правителе не узнать. В совместном деле решает тот, за чьим закреплённым значением исход следует при любом выборе остальных, и он суверен этого исхода, рад он ему или нет. Связанный и водитель без руля заняли одно и то же место, только одному оно принесло выигрыш, а другому может стоить того, чего он сам хотел бы. Самоналоженный ноль читался как слабость, пока власть мерили выгодой. Когда власть и выгоду разводят, привычный счёт свободы получает ответ в два хода: связать себя — не слабость, а способ занять трон; но трон не обещает счастья.

2.4 Решение, принятое до встречи

На встрече всё происходит сейчас. Пришедший излагает своё предложение, связанный слушает, переспрашивает, отвечает, и каждое слово и каждая пауза принадлежат этому часу. Обет присутствует здесь только тем, что он сделал с выбором связанного. Сам же он произнесён годы назад и в другом месте, когда пришедшего в этой истории ещё не было и никто не мог знать, что такая встреча когда-нибудь состоится. Тогда он был ответом на вопрос, которого ещё никто не задал, и теперь, когда вопрос наконец задан, ответ давно существует. У нуля, стоящего на месте выбора связанного, появляется прошлое, и вместе с ним со сцены уходит решающий акт. На встрече остаются двое, разговор и исход, а то, от чего исход зависит, случилось не здесь и не сейчас. Сколько бы ни длился разговор, час или целый вечер, весь он лежит по одну сторону от этого акта — после него.

Так устроен не один обет. Ноль, за которым стоит чей-то акт, выставлен в определённый день, до встречи, иногда задолго до неё: обет дан до знакомства, правило принято до спора, место отдано до собеседования. Правило, по которому рекорд в беге на сто метров не засчитывают, если попутный ветер был сильнее двух метров в секунду, записано задолго до забега, после которого о рекорде заспорят, и записано в другом месте другими людьми. Бегун может пробежать быстрее всех, кто бежал до него, судьи могут не сомневаться ни в секундомерах, ни в его силе, но если ветромер показал больше положенного, спор решён теми, кто этого забега не видел и не мог видеть. Здесь от встречи отделён не только решающий акт, но и его автор: составители правила на стадион не выходят, и судьи, отказывающие бегуну в рекорде, не решают, а исполняют решённое без них. Обет отличается тем, что его автор присутствует на встрече сам, но и он решил не здесь, а в тот день, когда обет был произнесён. Так у нуля, кроме материи и того, кто его выставил, обнаруживается ещё и дата, и дата эта предшествует встрече.

Можно возразить, что решение, принятое до встречи, — вещь обычная и сувереном никого не делает. Сторона приходит на переговоры с позицией, обдуманной накануне, прода-

вещ дома заранее назначил цену, ниже которой не опустится, и почти всякий, кто идёт на важный разговор, идёт туда с готовым ответом. Если достаточно решить раньше, то суверенов на всякой встрече столько же, сколько участников. Возражение показывает, что одной давности мало. Цена, назначенная накануне, тоже принята раньше, но встреча ещё может её сдвинуть: продавец, услышав довод покупателя или узнав, что дом стоит меньше, чем он думал, может уступить, и разговор ведут именно ради этой возможности. Прошлого такого решения предварительное: решение подготовлено заранее, а окончательно принимается на встрече. Прошлого нуля окончательное: встреча застаёт значение не подготовленным, а закреплённым, и никакой её поворот не возвращает его в обсуждение. Отличает одно от другого не давность, а то, открыто ли решённое для разговора: обет, принесённый накануне, закрыт для него целиком, а цена, назначенная за год до встречи, открыта до последней её минуты.

Сама встреча при этом выглядит симметричной. В записи исхода обе переменные стоят рядом, через запятую, как будто их значения устанавливаются в одну и ту же минуту; времени в этой записи нет, и она не спрашивает, когда закреплено то или иное значение. Сцена устроена так же. На ней видно ровно то, что в ней есть: двое присутствующих, две воли, разговор, в котором каждому дают слово и каждый может ответить. Симметричен и сам порядок разговора: реплики чередуются, доводы встречают возражения, и эта форма, форма совместного обсуждения, сохраняется, обсуждается в ней что-нибудь или нет. Она взята из встреч, где исход и вправду решают двое, и приносит их симметрию с собой туда, где решено заранее. Решающий акт в эту картину не попадает, потому что лежит в прошлом, а сцена показывает только настоящее.

Наблюдатель упускает решающий акт не по невнимательности. Прошлого входит в сцену только своими следствиями, а следствие не несёт на себе даты. «Нет», решённое десять лет назад, и «нет», решённое минуту назад, звучат одинаково, и в самом звучании нет ничего, что бы их различило. Так же датирует решение и язык: он относит его к минуте, когда решение объявлено, и говорит «отказал во вторник» о том, кто во вторник лишь сообщил давно решённое. Участникам на встрече тоже дано только настоящее. Пришедший видит перед собой того, кто слушает его всерьёз, и серьёзность, с какой его слушают, легко принять за открытость исхода. Даже если он знает об обете, знание о прошлом не выводит прошлое на сцену: ему известно, что решение когда-то было, но перед ним не решение, а тот, кто его слушает. Связанный помнит, что обет дан, но помнить не значит совершать: решающий акт и для него остаётся в прошлом, а на встрече он делает лишь то, что видно и пришедшему, — выслушивает, медлит, отвечает, и это те же действия, какими решают.

Прошлого не становится видимым даже тогда, когда его называют вслух. Когда в 1801 году первый министр Уильям Питт-младший склонял короля Георга III снять с католиков ограничения в политических правах, их спор выглядел спором двух волей о мере, которую один считал нужной, а другой нет. Всё, что делало вопрос насущным, принадлежало настоящему: уния с Ирландией, вступившая в силу в начале того же года, и доводы министра о том, что без этой меры ирландских католиков с унией не примирить. Король, однако, держался того, что ответ дан сорока годами раньше: коронационная присяга 1761 года, в которой он обещал хранить установленную законом протестантскую веру, по его убеждению, не позволяла ему согласиться. Уступки не последовало, и Питт ушёл в отставку. Присяга была названа прямо, и всё же в споре она могла явиться только словами, сказанными в этом споре, а такие слова звучат как доводы. Ссылку на давнюю клятву можно оспорить, взвесить, противопоставить ей другие соображения, как всякий довод, и спор о ней снова принимает вид спора двух волей, хотя для того, кто считает себя связанным, спорить уже не о чем.

У суверена есть тайник, которого не найти, осматривая место встречи: прошлое. Тайник этот особого рода: чтобы спрятаться в нём, суверену не нужно ничего скрывать. Его прячет не умолчание и не маскировка, а время, которое разносит решение и исход по разным часам.

Трон занимают при пустом зале: когда нуль выставляют, смотреть ещё не на что, встречи нет, предложения нет, и даже держатель не знает, к какому исходу его акт когда-нибудь приложится. Когда появляется на что смотреть, решать уже нечего: исход приходит на встречу решённым, и тот, кто ищет решившего, находит там только разговор. Вопрос «кто здесь решил?» задан верно, но обращён не к тому часу, и потому получает в ответ «оба», если исход читают как общее дело, или «никто», если видят в нём стечение обстоятельств. Тайник тем надёжнее, чем дальше акт отстоит от встречи: давнее решение перестают узнавать как решение, давний обет принимают за свойство человека, давнее правило — за порядок вещей, и исход, решённый одним и давно, записывают на счёт самой встречи, будто его решили двое.

Одно при этом остаётся на стороне настоящего. Если решающий акт совершён тогда, то сейчас решённое должно всё ещё оставаться решённым. Годы, отделяющие обет от этого разговора, оно пережило не само собой: решённое в прошлом в настоящем приходится удерживать. Чем оно держится и долго ли может держаться, из одной встречи не видно, и это остаётся открытым вопросом. Ясно другое: суверен часто не решает во время встречи, потому что уже решил, и на самой встрече его можно узнать лишь по тем немногим следам, которые прошлое оставляет в настоящем. Пришедший договаривает, связанный отвечает, и в эту минуту ничего не решается: ответ только произносится.

2.5 Диагностический признак

Акт, которым выставлен нуль, обычно недоступен тому, кто хотел бы его найти. Он совершён до встречи и вне её, нередко без свидетелей, иногда людьми, которых никто из участников никогда не видел, и о нём можно не подозревать, сидя в одной комнате с его держателем. Искать нуль по его происхождению значит искать то, что устройство дела уже вынесло за пределы видимого. Но у закреплённого значения есть следствие, которое не остаётся в прошлом вместе с актом: исход, решённый заранее, кто-то может заранее знать. О таком знании уже выдвинут закон, пока лишь как гипотеза: кто может знать исход, ничего не зная о других, тот может и решить его, ничего у них не спрашивая. Гипотеза выросла из случая, где всё лежало на виду: обет назван, знание связанного очевидно, и спрашивать приходилось только о том, что одно говорит о другом.

Тот же закон можно обратить к случаям, где на виду не лежит ничего. Если знание в одиночку выдаёт власть в одиночку, то власть можно искать по знанию, а о знании можно спрашивать, не зная ни того, когда и кем выставлен нуль, ни из чего он сделан. Так гипотеза становится инструментом — вопросом, который можно задать любой ситуации: возможна ли здесь односторонняя уверенность? Если кто-то может знать исход, ничего не зная о других, — где-то сидит нуль. Назовём такой вопрос *вопросом-щупом*: как щуп, которым ищут под снегом, он не показывает того, во что упёрся, но твёрдое от рыхлого отличает. Спрашивается при этом не о том, уверен ли кто-нибудь на самом деле, а о том, есть ли в деле место, откуда исход можно знать, не опираясь ни на что в других участниках: ни на их доводы, ни на их намерения, ни на то, какие они люди.

Возьмём собеседование на место, которое уже занято. Объявлен открытый конкурс, и кандидат готовится к нему всерьёз: узнаёт, чем занят отдел и какие задачи ждут того, кто получит место, продумывает ответы на вопросы, которые ему, скорее всего, зададут, и на те, которых задавать не должны. Отвечает он блестяще. Комиссия слушает внимательно, переспрашивает, один из её членов записывает ответы, другой не скрывает, что впечатлён, и кандидат уходит с чувством, что сделал всё, что мог. Снаружи это встреча, исход которой решают ответы: один убеждает, другие взвешивают, и каждое слово будто ложится на весы. Указать на обман в том, что происходило в комнате, нельзя: вопросы задавались по делу, и слушали кандидата всерьёз.

Зададим этой встрече вопрос-щуп. Может ли кто-нибудь в комнате знать исход, ничего не зная о кандидате: ни его прежней работы, ни его ответов, ни даже имени? Члены комиссии, которые собрались выбирать, не могут: чтобы знать, им нужно дождаться ответов и сравнить их с ответами других. Но пусть место ещё год назад обещано сотруднику, чей переход из соседнего отдела оговорён задолго до объявления конкурса. Тогда председатель, за которым последнее слово, знает исход раньше, чем кандидат вошёл в комнату, и знал бы его при любом кандидате, в том числе при лучшем из всех возможных. Его уверенность ни на что в кандидате не опирается, и щуп упирается в твёрдое: где-то сидит нуль, и в этом случае он сделан из прежнего обещания. Щупу не понадобилось ни видеть обещания, ни знать, кому и когда оно дано. Конкурс идёт по всем правилам, но то, ради чего его проводят, решено до него: кандидату этот нуль стоит места, которое он, может быть, заслужил, а сотруднику, которому оно обещано, сохраняет то, о чём с ним договорились.

Другое положение — переговоры с тем, чей мандат запрещает уступку. Делегат работников договаривается с администрацией завода, и общее собрание, отправляя его, запретило соглашаться на удлинение смены, что бы ни предложили взамен. Администрация может предлагать прибавку к жалованью, лишние дни отпуска, новое оборудование, может увязывать одно с другим и искать обмен, в котором обе стороны что-нибудь выиграют, и по большей части пунктов разговор действительно открыт: прибавка может оказаться больше или меньше, отпуск длиннее или короче. Приложим щуп не к переговорам в целом, а к одному исходу: станет ли смена длиннее? Делегат знает ответ, ничего не зная о том, что предложит администрация, и его уверенность останется верной при любом предложении, пока собрание не пересмотрит мандата. Нуль выставлен не им и не в этой комнате, а теми, кто его отправил, и охраняет их. Щуп показывает здесь не только то, что нуль есть, но и то, где он лежит: в переговорах, где почти всё подвижно и решается по мере уступок, закреплён один пункт, а остальные решаются так, как решают равные.

Третье положение — просьба к тому, кто связан правилом. Читатель, которого библиотекарь знает много лет, просит выдать ему на дом книгу из редкого фонда: он болен, до библиотеки ему далеко, книга нужна на неделю, и о нём известно всё, что нужно, чтобы ему доверять. Правило, по которому книги редкого фонда не выносят из читального зала, отвечает на просьбу раньше, чем та договорена: оно установлено ради тех, кто придёт за книгой после, и неделю работы этого читателя в расчёт не берёт. Щуп находит нуль и здесь, но положение обратно тому, что было на собеседовании: библиотекарь знает о просящем не меньше, а больше обычного. Значит, слова «ничего не зная о других» в вопросе-щупе означают не незнание, а ненужность: уверенность библиотекаря не опирается ни на одно из сведений о читателе, хотя они у него есть. Будь на месте давнего читателя незнакомец с улицы, ответ был бы тем же, и библиотекарь знал бы его так же твёрдо.

Это уточнение нужно потому, что щуп срабатывает и там, где нуля нет. Уверенность, не опирающаяся на сведения о других, бывает не только у держателя нуля, но и у всякого, кто этих сведений просто не собирал, потому что уверен заранее по причинам, лежащим в нём самом. Такие случаи — *ложные срабатывания* щупа, и за каждым стоит *психологическая уверенность*, внешне неотличимая от структурной, то есть от той, что держится на закреплённом значении. Самонадеянный уверен, что старый друг поручится за него перед банком, потому что друзья ему до сих пор не отказывали, и спрашивать друга заранее считает лишним. Фаталист уверен, что общая экспедиция не выйдет в срок, потому что задуманное людьми никогда не сбывается в срок, и готовит свою часть снаряжения, ничего от неё не ожидая. Отчаявшийся уверен, что на открытом конкурсе ему откажут, что бы он ни сказал, и его уверенность звучит слово в слово как знание председателя, давшего обещание. Все трое уверены в исходе, ничего не зная о других, и если судить по их уверенности, щуп даёт утвердительный ответ, хотя нуля нет ни у одного из них.

Проверка, которая их отличает, устроена просто: к положению добавляют сведения о других и смотрят, останется ли уверенность верной. Уверенность председателя выдерживает любую добавку: что бы ни стало известно о кандидате, исход не изменится; так же прочна уверенность делегата и библиотекаря. Уверенность самонадеянного не переживёт одного сведения: друг уже поручился за другого и второго поручительства дать не может. Уверенность фаталиста не переживёт известия, что снаряжение уложено и все готовы выйти в назначенный день, а уверенность отчаявшегося — известия, что комиссия ищет именно такого, как он. Отчаявшийся может, правда, сам сделать свою уверенность верной, забрав заявление, но тогда исход будет решён его собственным «нет», сказанным сейчас, а не тем, в чём он был уверен. Психологическая уверенность тоже бывает верной, но верна она лишь при условии, что другие окажутся такими, какими их считает уверенный, тогда как структурная остаётся верной, какими бы они ни оказались. По силе чувства их не различить: отчаяние бывает твёрже обета. Проверка меряет другое: у структурной уверенности независимость от других есть неуязвимость для сведений о них, у психологической — лишь отсутствие этих сведений. Добывать эти сведения на деле не нужно: достаточно спросить, есть ли среди возможных сведений о других хоть одно, после которого уверенность стала бы неверной.

У инструмента есть пределы. Пока лишь замечено на немногих случаях, но не доказано, что односторонняя уверенность, выдержавшая проверку, всякий раз выдаёт ноль; признак принят в долг. К тому же щуп отвечает лишь на вопрос, есть ли здесь ноль, и не отвечает на другой, настоящий ли он: сослаться на закреплённое значение можно и там, где ничего не закреплено, и этот второй вопрос остаётся открытым. За уликой — знанием исхода у одного из двоих — теперь различимо устройство: исход, казавшийся делом двух волей, решён значением одного, закреплённым до встречи. Искать суверена можно и там, где нет ни обета, ни связанного, — взятым в долг вопросом, который находит ноль, но не ручается за находку.

Часть II. Анатомия

Из чего сделана власть отрицания: алгебра, власть, модальность.

Глава 3. Алгебра «нет»

3.1 Совместность как «И»

Слово «вместе» мы произносим, не спрашивая, что именно оно обещает. Двое вместе решили жить одной жизнью; стороны вместе заключили сделку; бригада вместе провела операцию; сорок голосов вместе исполнили хорал. Во всех четырёх фразах слово одно, и кажется, что оно везде значит одно и то же: исход получился у многих, а не у кого-то одного. Но стоит спросить, что было бы, если бы один из участников ничего не внёс, и фразы расходятся. В одних случаях от исхода не осталось бы ничего, в других он почти не изменился бы. Само слово «вместе» этой разницы не отмечает, потому что его говорят, когда все на месте, а разница видна только тогда, когда кого-то нет. Совместный исход знаком каждому по опыту общих дел, но чтобы удержать эту разницу, понятию нужна граница, которой у слова нет.

Проведём её так: совместным в строгом смысле назовём исход, который наступает, только если свой вклад внёс каждый участник. Вклад может быть согласием, как у тех, кто ставит подпись, или действием, как у тех, кто работает на своём месте. Вся тяжесть определения лежит на слове «каждый»: не большинство, не достаточное число, а каждый, кто в исходе участвует. Определение не касается того, кто внёс больше, кто начал дело и кому оно нужнее; оно говорит только о том, без чьего вклада исход не наступает. Отсутствие одного вклада означает в таком деле отсутствие исхода, а не его уменьшение. Здесь берутся исходы, которые либо наступают, либо нет: союз заключён или не заключён, мост стоит или не стоит, операция проведена или не начиналась. Это сужение сделано сознательно, и забывать о нём нельзя: жизнь знает и исходы, которые наступают отчасти.

Проще всего увидеть определение там, где вклад — согласие. Союз двоих требует двух «да», и одно «да» не даёт половины союза: оно не даёт союза вовсе. Можно быть согласным всем сердцем, ждать, готовить общий дом, давно считать дело решённым, но пока согласен один, союза нет ни на половину, ни на четверть. Он появляется сразу и целиком, когда есть оба согласия, и так же целиком отсутствует, когда одного нет. Поэтому в таком деле нельзя согласиться за двоих: избыток готовности одного не возмещает недостающего согласия другого, а пыл и доводы не входят в исход как вклад. Вклад — это «да», и оно должно прозвучать с обеих сторон.

Договор устроен так же, только участников в нём бывает больше, а согласие закреплено подписью. Соглашение трёх сторон, под которым стоят две подписи, — не соглашение на две трети, а бумага, которая ещё никого не связывает. Третья сторона может быть самой малой по доле, по деньгам, по значению в деле, но её подпись от этого не становится легче прочих. Подписи не взвешиваются и не складываются: либо на листе стоят все, либо договора нет. Те, кто готовит такие сделки, знают это без всякой теории: последнюю подпись ждут так же, как ждали первую, и никто не считает сделку наполовину заключённой оттого, что большинство уже расписалось. В этом ожидании и видна форма зависимости: исход привязан не к числу согласий, а к их полноте.

Согласие — не единственный вид вклада. Операцию ведёт бригада: хирург, ассистент, анестезиолог, операционная сестра, и у каждого свой участок, без которого работа не идёт. Здесь никто не соглашается в особом акте; вклад — это действие, исполненное на своём месте и в свой час. Если анестезиолог не пришёл, а заменить его некем, операция не начнётся, каким бы искусным ни был хирург и как бы ни была готова остальная бригада. Мастерство хирурга не делает работы анестезиолога, сколько бы его ни было. Определение остаётся прежним: исход

наступает, только если внесены все вклады, и нужен каждый в бригаде, кто незаменим на своём участке.

Нагляднее всего это в вещах, где вклад — не слово и не поступок, а вес, который держит опора. Пролёт моста лежит на нескольких опорах, и каждая несущая опора принимает свою часть нагрузки. Мост, у которого выбита одна из четырёх несущих опор, — не мост на три четверти, а пролёт, который не стоит. Опора ни на что не соглашается, но исход зависит от неё точно так же, как союз зависит от согласия: есть все — мост стоит, нет одной — не стоит. Поэтому мост и проверяют по опорам, а не в среднем: осматривают каждую, и одна треснувшая опора не уравнивается тем, что три другие прочнее, чем нужно. Слово «несущая» здесь существенно. Перила, фонари, резной карниз тоже части моста, но без любой из них он стоит, так что уже в одной конструкции есть части, входящие в исход как условие, и части, которые его только дополняют.

В хоре сорок голосов, и в какой-то вечер один из певцов не может петь: он стоит в своём ряду, держит ноты, но звука не даёт. Хор звучит. Слушатель, скорее всего, не заметит перемены, дирижёр услышит, что партия теноров стала чуть тоньше, а хорал пройдёт от первой ноты до последней. Каждый голос вносит в звучание свою долю, у каждого своя партия и своё место в ряду, но ни один из них не служит условием того, что хор звучит. Если замолчат двое или пятеро, картина по существу не изменится: звук станет беднее, но не исчезнет. Если замолчат почти все, хорала не будет, но предел, за которым это случится, задан числом, а не именем: его не держит ни один определённый певец. Здесь есть и многие участники, и общий исход, и слово «вместе» употреблено по праву, но той зависимости, которая была у союза, договора, бригады и моста, здесь нет.

Чем же хор отличается от моста, если и там и тут множество частей работает на одно? Тем, как исход связан с каждым вкладом. В хоре вклады складываются в сумму, в совокупность: каждый голос прибавляет к звучанию, и звучание держится, пока голосов довольно, а не пока налицо полный состав. В мосту и в союзе вклады не складываются, а сцепляются: каждый нужен не как прибавка, а как условие. Проверка годится для любого общего дела: мысленно убрать один вклад и посмотреть, что стало с исходом. Если он на месте, пусть и беднее, перед нами совокупность; если его нет, перед нами совместность в строгом смысле.

Спутать одно с другим легко, потому что в удачный день хор и мост выглядят одинаково: все на месте, все делают своё, исход налицо. Совокупность и совместность различаются не тем, что видно, когда всё сбылось, а тем, что случилось бы, если бы один вклад выпал. Ошибиться можно в обе стороны, и ошибаются сами участники. Певец, уверенный, что без его голоса хорал не состоится, принимает хор за мост. Малая сторона договора, которая считает свою подпись формальностью рядом с подписями крупных участников, принимает мост за хор. Различает хор и мост лишь форма, которой исход привязан к участникам.

Эту форму знает грамматика. В строгом смысле «вместе» значит «этот, и этот, и этот»: исход держится на перечне, из которого нельзя выпустить ни одного члена. Обычная речь этот смысл различает и, когда он ей важен, помечает его особо: «только вместе», «все до одного», «единогласно». Каждая такая оговорка отсекает совокупность и оставляет лишь то «вместе», где без любого из участников дела нет. Само по себе «и» этого ещё не гарантирует: хористов тоже перечисляют через «и» — тенора, и басы, и альты, — и никто не думает, что хорал держится на каждом. Важно, что именно соединено: участники, которые просто стоят рядом в перечне, или условия, без любого из которых исход не наступает.

Когда «и» соединяет условия, у этого соединения есть точное имя. Маленькое «и» в школьной грамматике называется союзом, тем же словом, что и союз двоих, а логика называет соединение условий через «И» *конъюнкцией*, от латинского слова, которым грамматики обозначали тот же союз. Саму форму, в которой исход зависит от вкладов, назовём *связкой*. Связка «И» требует всех вкладов; бывает и другая, «ИЛИ», которой хватает одного, но строгая

совместность держится на первой. Союз двоих, договор, бригада и мост связаны со своими участниками через «И», хорал сорока голосов — нет.

Молчащий певец остаётся в хоре, и хор остаётся хором; недостающее согласие не оставляет от союза ничего, даже части. Между этими двумя случаями проходит граница, которой обычное «вместе» не замечает. По одну её сторону исход стоит на многих, но ни на ком в отдельности, и выпавший вклад отнимает у него лишь долю. По другую исход стоит на каждом и есть лишь там, где свой вклад внесли все. Совместность в строгом смысле — это «И», и всякий раз, когда говорят «вместе», её приходится отличать от совокупности, которая носит то же имя.

3.2 Поглощающий ноль, нейтральная единица

Определение строгой совместности говорит, когда исход наступает: тогда, когда свой вклад внёс каждый. О том, что делает с исходом один вклад, взятый отдельно, оно молчит. Возьмём любого участника общего дела, закрепим его вклад и спросим, что после этого остаётся решить остальным. Значений у вклада два: участник согласен или не согласен, опора держит или не держит, выключатель замкнут или разомкнут. Кажется, что для обоих значений ответ должен быть одним и тем же, только с разным знаком: отказ немного отнимает у исхода, согласие немного прибавляет. Так было бы в совокупности, где каждый голос добавляет к звучанию свою долю. В строгой совместности ответы для двух значений различаются не по величине, а по роду, и это становится видно, как только закон «И» записан.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.